

Проблема большевизма в философской публицистике русского зарубежья*

Т. А. Кулакова, А. М. Соколов, Н. В. Кузнецов

Санкт-Петербургский государственный университет,
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Для цитирования: Кулакова Т. А., Соколов А. М., Кузнецов Н. В. Проблема большевизма в философской публицистике русского зарубежья // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34. Вып. 1. С. 24–36. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu17.2018.103>

Статья продолжает цикл публикаций, посвященных русской философской публицистике периода революции (1917–1922). Предмет исследования — формирование проблематики большевизма и его социально-философский анализ в журнале «Русская мысль» первых двух лет (1920–1921) после возобновления его деятельности за рубежом. Авторский интерес к данному сюжету вызван тем, что постановка проблемы, с одной стороны, завершает столетний период расцвета русской религиозно-философской мысли, а с другой — реактуализация этой проблемы может послужить исходным пунктом для возобновления философского опыта в нашей стране, возрождающего историсофский пафос отечественного любомудрия. На основании публикаций П. М. Бицилли, К. И. Зайцева, П. Н. Савицкого П. Б. Струве и др. авторы демонстрируют неоднозначность понимания большевизма и отношения к нему российской интеллигентской элиты, оказавшейся в изгнании. Наиболее важной частью исследования является та, где речь идет о принципиальной неспособности русских интеллектуалов, воспитанных в духе буржуазного просвещения и классического академизма, дать адекватную оценку событиям, содержательно отличающимся от того, с чем привыкла работать классическая западноевропейская ученость. Так, описание динамики российского общества трех-четырёх десятилетий, предшествующих революции, не давало подлинной картины социальных процессов в стране. Потому и большевизм как явление, порожденное парадоксальностью социально-политических процессов, мог быть понят только в контексте нетривиальности захватывающего его событийного горизонта.

Ключевые слова: философская публицистика, революция, социализм, большевизм, цивилизационное развитие, событийный горизонт, советская власть, историсофия.

История отечественной журналистики, безусловно, составляет часть истории русской литературы, языка, а стало быть — истории мысли, истории русской культуры в целом. Ее существенное отличие проявляется в том, что журналистика, будучи полностью погруженной в настоящий, «здесь и сейчас» поток жизни, воспроизводит опыт повседневности. Философская же журналистика претендует на то, чтобы через описание самых элементарных форм жизни человека и общества приблизиться к пониманию фундаментальных начал бытия. Если же речь идет о философской журналистике периода революционных потрясений, то можно

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда «Отечественная философская журналистика. 1917–1922 гг.» (проект № 16-03-00623).

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2018

предполагать наивысшую степень интеллектуальных прозрений, вызванных крушением привычно обыденных форм уклада личной и общественной жизни. Разрушается все, кроме того, что нерушимо в принципе. Нерушима мысль, если она находит себя в непосредственном отношении к незыблемым началам всего сущего, открывающим подлинный масштаб происходящего и задающим единственно возможный нарратив ее актуализации в действительности.

Учитывая то обстоятельство, что философия в России сложилась как самостоятельная форма духовно-интеллектуального опыта к середине XIX столетия, нельзя оставить без внимания, что ее стремительное развитие и расцвет были синхронизированы с процессом распространения капиталистических отношений и пропагандой ценностей буржуазной цивилизации. И, следовательно, русская революция как событие национального масштаба (мы умышленно акцентируем внимание на национально-цивилизационном аспекте проблемы) является «точкой» схождения всех смысловых векторов событийного пространства России в период с 30-х годов XIX в. до 30-х годов XX в. Именно в эти сто лет русская философия была неотъемлемым элементом русской цивилизации.

Философская журналистика, правильнее было бы сказать «философская публицистика», оказалась и первым (Чаадаев), и последним актом (журналы русского зарубежья) русской философии как явления культуры. Слово «последний», тем не менее, не обязательно тождественно слову «окончательный». Вероятно, мы имеем дело с «перерывом», вызванным колоссальным цивилизационным сдвигом, происходящим в нашей стране, требующим невероятного духовного напряжения, «отодвинувшего» философское осмысление этого «происходящего» на более поздний период. И, возможно, этот период уже наступил. В любом случае взятая Россией «философская пауза» может быть завершена возобновлением именно прерванного диалога. А этот диалог, начатый П. Я. Чаадаевым вопросом о месте России в мировом цивилизационном процессе, прервался вопросами о смысле русской революции, сущности большевизма как воплощении этого смысла и сомнительных исторических перспективах Советской России.

Сегодня мы пытаемся возобновить прерванный диалог. И в определенном смысле опять начинаем сначала. Мы начинаем с момента катастрофы как исходной точки современной истории России. И этой точкой является революция — событие, в котором сконцентрировалась вся наша предыдущая история и выплеснулась невероятной энергией социалистического строительства. В нашем национальном сознании семидесятилетняя история советской власти ассоциируется с большевизмом как идейным ядром русского марксизма и политической силой, взявшей на себя ответственность за радикальные преобразования в геополитическом пространстве России.

Закономерно, что именно большевизм, «вдруг» возникший «неведомо откуда» среди влиятельнейших политических движений и партий, вызвал недоумение в сознании русской интеллигенции. Закономерно, что вождь большевиков был ментально демонизирован, а большевистская мощь мифологизирована и сведена к зарубежному финансированию. Однако итоги Гражданской войны «странным» образом не соответствовали столь упрощенному представлению о победителях, которым теперь предстояло не «просто» строить новый мир, но в первую очередь восстанавливать разрушенное хозяйство страны. И «тайна большевизма» доста-

точно быстро приобрела характер философской проблемы, так как теперь с ним, с большевизмом, русской мыслью в эмиграции отождествлялась загадочность оставшейся вдалеке родины. Конечно, советская власть тех лет сама давала повод к недоумению, демонстрируя небывалое понимание базовых цивилизационных институций (семья, собственность, государство), провозглашая утопические проекты, ставя перед собой, быть может, труднейшие и необязательные задачи. Но она удивительным образом справлялась с любыми трудностями, параллельно заставляя удаленную в эмиграцию философскую мысль согласовывать свои теоретические представления с результатами практической деятельности.

Интересно проследить эволюцию русской мысли за рубежом, достаточно плодотворной в двадцатых годах XX в. и постепенно угасшей к середине тридцатых. В данной статье мы ограничиваемся только одним изданием (журнал «Русская мысль»), так как именно его идейное содержание отражало наиболее радикальную либерально-демократическую тенденцию в кругах буржуазно ориентированной интеллигенции, стоявшей у истоков русской революции. В то же время это первое серьезное русскоязычное издание, имевшее длинную дореволюционную историю и ставшее систематически выходить за рубежом. Кроме того, в этом издании с самого возобновления его деятельности стали появляться публикации, идейно не совпадающие с генеральной линией журнала.

Мы ограничимся двухлетним промежутком: 1920–1921 гг., так как это был период эволюционного выбора, высочайшей исторической неопределенности и цивилизационной обнаженности. С одной стороны, это было время прозрений очевидного, с другой — время интеллектуальных искушений и духовных соблазнов. Безапелляционность суждений одних и категорическая решительность мер, предпринимаемых для достижения «недостижимых» целей. В начале двадцатых годов либерально-демократическая критика большевизма не могла не казаться вполне убедительной на фоне хозяйственной и политической разрухи в России и отчаянных попыток диктатуры пролетариата добиться хоть какой-то стабильности в стране. И все же позиции оппонентов большевистского режима не были надежны хотя бы потому, что они оказались в изгнании. О том, что происходило на родине, они узнавали от случая к случаю, и даже при относительной достоверности информации уловить дух происходящего были не в силах по той простой причине, что не имели с ним почти ничего общего. Они на Россию в целом и на народ, в частности смотрели глазами прошлого, глазами изгнанников. Кроме того, их уверенность в своей правоте была поколеблена тем, как они были приняты своей духовной мачехой. Вот одно из первых заграничных впечатлений будущего иерарха Русской православной церкви за рубежом К. И. Зайцева: «Мы, дышавшие воздухом Совдепии, не пожелавшие поклониться идолу советской власти, восставшие с оружием в руках против Советской России во имя общечеловеческой, европейской культуры, мы, попавшие ныне в качестве изгнанников на родину этой культуры, мы и Европа не понимаем друг друга. Русская революция и большевизм и для нас и для Европы являются центром мировых событий, но, когда мы начинаем говорить, мы убеждаемся, что говорим на разных языках и что видим, глядя на то же явление, разные вещи» [1, с. 116].

Действительно, речь шла о постепенном осознании утраты родины, но не как топографического, физического акта, но как метафизического события. Причем со-

бытия, произошедшего не три года назад, а гораздо раньше. Революция, совсем недавно казавшаяся апофеозом освободительной борьбы, теперь представлялась не просто «интеллигентским недоразумением», а «антипатриотичным», «противонациональным», «противогосударственным» явлением, «с логической и психологической необходимостью приведшим к распаду армии и разрушению государства» [2, с. 34]. И объяснение тому нашлось опять же метафизического характера — социализм устарел. П. М. Бицилли был не так радикален, как О. Шпенглер, считавший, что европейская цивилизация клонится к закату, но не менее радикален, чем М. Вебер, который был убежден в контрпродуктивности социализма как эпигона капиталистического модернизма. «Не культура стара... стар социализм. Попытка социалистического переустройства общества... преждевременна для этого общества, но для социализма она уже является запоздалой. Общество еще не созрело, социализм уже перезрел» [3, с. 310]. В этих словах нашего историка-медиевиста больше европейского, германского, чем русского. Социализм был разгромлен в Германии, Венгрии, но не в России. Другое дело, что в России на самом деле набирал силу не совсем «социализм», или — совсем не социализм.

Подлинный социализм русская эмиграция увидела в очередной, возможно, завершающей фазе его осуществления, проявляющей изначальную его причастность капиталистической цивилизационной парадигме. С этой точки зрения очень точным выглядит замечание П. Б. Струве: «...Важно то... как быстро социализм германской социал-демократии превращается в особую психологическую и политическую категорию самого буржуазного строя, как быстро социал-демократическая партия становится подлинной партией рабочего класса, существование которого как класса необходимо именно в буржуазном обществе и для которого поэтому так же необходимо буржуазное общество...» [4, с. 320].

По окончании Первой мировой войны, после очередного передела мира все отчетливее стала вырисовываться глобалистская сущность капитализма, предполагавшая «экспорт» пролетариата из «метрополии» в колониальную периферию. Именно это обстоятельство порождало иллюзию примирения враждующих классов. В этом смысле можно согласиться с тем, что «социализм... обратился в систему»; что он «уже умер потому, что перешел в канонические книги»; что «социалистическое творчество — *contradictio in adjecto*» и «ничего оплодотворить уже не может». Можно даже согласиться с тем, что социализм, действуя в течение всего XIX столетия и являясь могучим фактором европейской истории, совершенно закономерно не создал социалистического строя, и в XX в. он «способен только разрушать и истреблять...» [3, с. 311]. Но все это относится к европейскому социализму как свершению капиталистической системы в глобальном масштабе.

Невозможно оспорить тот факт, что «социалистические» революции были активированы империалистической войной, которая привела не только к безоговорочному доминированию британского капитала, но и к окончательному примирению межклассовых противоречий в самой Англии. Если рассматривать результаты Второй мировой войны в той же перспективе, то легко видеть, что классовые противоречия были сняты во всех странах западного, буржуазного мира. Исходя из этого резонно задать два вопроса. Первый — были ли «социалистические революции» в Европе революциями? Второй — какое отношение к двум самым разрушительным войнам имел социализм?

Эти вопросы носят отнюдь не риторический характер. На первый из них следует дать отрицательный ответ просто потому, что и в Венгрии, и в Германии революции потерпели поражение. А если так, то значит сила, заявляющая себя революционной, таковой не являлась, ибо она в принципе была не в состоянии радикально противопоставить себя силе, которая ее породила. Строго говоря, классовая борьба — это механизм развития капиталистического общества, который складывался по мере возникновения и роста буржуазии вместе с пролетариатом. И наши эмигранты это уже отчетливо понимали. Так, П. Б. Струве писал: «Классовая борьба, утверждаемая марксизмом, предполагает стойкую наличность рабочего класса и его психологию. И то и другое возможно настоящим образом только в буржуазном обществе». И далее: «...пролетариат в обстановке реальной хозяйственной жизни есть элемент буржуазного общества и психологически, и морально лишь одна из разновидностей типа “буржуа”» [4, с. 320]. Другими словами, и в Германии, и в Венгрии в 1918 г. история Европы раскрылась элементами Великой войны, предваряющей империалистическую фазу капиталистического развития.

Отвечая на второй вопрос, следует сказать, что социализм, включенный в ценностную систему буржуазной цивилизации, имел самое непосредственное отношение к мировым войнам. Достаточно вспомнить о национал-патриотических настроениях западной социал-демократии в Первой мировой войне и националистическом рецидиве социализма, способствовавшего разжиганию Второй мировой войны. В этом смысле не кажется голословным еще одно утверждение Струве, достигающее пророческой остроты: «Осуществление германской социал-демократии будет концом социализма как целостного идейного построения, которое можно принципиально противопоставить буржуазному строю» [4, с. 320].

Следуя дальше за мыслью П. Б. Струве, трудно не восхищаться его пророческой прозорливостью: «Социализм будет буржуазным или его не будет». Наша интеллигенция, восхищенная и очарованная европейским Просвещением, все же оставалась русской. Она могла улавливать самые сокровенные противоречия жизненного уклада Запада. Но при этом «умудрялась» переносить их болезненные последствия на русскую почву. Трудно избежать искушения согласиться со Струве, что социализм в России «не был буржуазным» и потому «съел государство, пролетариат и себя» [4, с. 320]. И все же к 1914 г. Россия не была ни буржуазной, ни капиталистической, и потому в ней не могло быть не только буржуазного социализма — в России вообще не могло быть социализма. Следовательно, социализм не мог «съесть» ни государство, ни пролетариат.

Сегодня невозможно точно сказать, по какому принципу редакция «Русской мысли» отбирала материал для своих журналов. Но замечательно то, что вопросы, поставленные в более ранних номерах, получали развернутые ответы в ближайших последующих выпусках журнала. Так, известный в дореволюционной России правовед В. Б. Ельяшевич, отвечая и П. Б. Струве, и П. М. Бицилли, и многим другим на их замечания об отсутствии в России пролетариата, совершенно справедливо подчеркивал, что у нас и буржуазии-то не было. Так, он писал: «Были люди, которые торговали, которые занимались промышленностью. Но недостаточно одинакового занятия, одинаковой профессии, чтобы составлять класс. Нужны другие признаки. А их не было. Не было ни сознания единства, ни сознания своей силы, своей роли в государстве, своей связи с ним...» [5, с. 201]. И откуда взяться классу?

На Западе классовое (не сословное) формировалось едва ли не со Средневековья. В этот процесс постепенно вливались купцы и ремесленники, аристократы и духовенство, интеллектуалы, крестьяне. На протяжении нескольких (четырёх-пяти) веков все они «притирались» друг к другу, порождая множество ранее неизвестных социальных практик, институтов. Университеты, парламенты, банки, биржи, мануфактуры, разного рода коллегии и гильдии возникали и последовательно добивались легитимации. И все это в конечном счете только к XIX в. оформилось в систему буржуазно-капиталистических отношений.

В России же «буржуазное просвещение», как известно, насаждалось «сверху» и не систематически. Вместе с тем огромные расстояния затрудняли естественное развитие экономических, социальных и политических связей. Конечно, и русские предприниматели выходили из разных слоев, но среди них фактически не было тех, кто принадлежал к высшему уровню социальной иерархии традиционного общества. Тем самым социальный авторитет новой силы в общественном сознании даже к началу XX в. был неустойчив. У нас не просто «все слои населения жили вне и без государственного сознания». Они жили рядом с государством, боялись его и уповали на него, но очень долго даже не помышляли об участии в его жизни. Вот почему «слои мелкого и среднего промышленно-торгового населения по всей России представляли собой аморфную массу. Крупная торговля и промышленность... стали занимать в России все большее место. Но их социальная и политическая роль совершенно не соответствовала их хозяйственному значению. Объединиться, потребовать себе подобающего места в государстве представители торговли и промышленности не сумели. Они оставались не субъектом, а объектом власти» [5, с. 201]. К тому же В. Б. Ельяшевич не знал или сознательно умолчал и о том, что самая продуктивная часть капитала, функционирующего в России, находилась под контролем иностранных компаний.

Принцип аргументации В. Б. Ельяшевича может быть применен и в отношении других социальных групп в России. Так, огромное количественное преобладание крестьян в социальной структуре России еще не делало крестьянство классом в строгом смысле слова. К началу XX в. оно все еще оставалось стихийной массой, не просто разобщенной, но оказавшейся в состоянии хозяйственного и правового переформатирования. Появление партии эсеров, претендующей на политическое руководство десятками миллионов людей, которые вообще имели весьма слабое представление о том, что такое государство, должно было выглядеть как цивилизационное недоразумение.

Пролетариат в организационном смысле был более оформлен в силу того, что сосредоточивался в крупных городах, где концентрировалось капиталистическое производство. Но рассчитывать на его социальную, а тем более политическую зрелость в начале XX столетия было утопически преждевременно. Хорошо известен факт, что В. И. Ленин еще в начале 1917 г., фактически накануне революции, не допускал даже возможности организованного восстания рабочих, не говоря уже о его успехе. Ленин был реалистом. Он не мог не отдавать себе отчета в том, что русский пролетариат очень молод и еще не обладает классовым самосознанием. К началу империалистической войны на петербургских, московских, екатеринбургских и нижегородских заводах едва ли появились рабочие во втором поколении. Подавляющее большинство из тех, кто стоял у станка в то время, еще совсем недавно

пахали землю. Даже внутрироссийская солидарность пролетариата вряд ли была осуществима. В связи с этим странным выглядит заключение В. Б. Ельшевича о том, что в России рабочий был не только вне государства, как крестьянин или промышленник, рабочий был «антигосударственным по принципу. Он не только не сознавал своей связи с государством, он был убежден, что его интересы противоположны государственным, что он в интернационале» [5, с. 204].

Ведь если кого-то и можно было отнести в России к антигосударственным группам, имеющим «интернациональные» интересы, то в первую очередь буржуазию. Строго говоря, российский капитализм изначально был фикцией. Хорошо известна решающая роль иностранного капитала в российской финансово-экономической системе. Достаточно обратиться к статистике, которую привел В. И. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Вывод, сделанный на основании объективных показателей, очень выразителен. Англии, США, Франции и Германии в 1914 г. принадлежало «почти 80% всемирного финансового капитала. Почти весь остальной мир, так или иначе, играет роль должника и данника этих стран — международных банкиров, этих четырех “столпов” всемирного финансового капитала» [6, с. 358]. Капитализм в России был номинально русским; фактически он был интернациональным. Вступление нашей страны в мировую империалистическую войну с сомнительными национальными интересами — тому подтверждение. Кстати сказать, активное участие иностранных держав в Гражданской войне 1918–1920 гг. имеет то же объяснение. И тем же объясняется та легкость, с которой русская интеллигенция в эмиграции оправдывала свое сотрудничество с интервентами.

Пожалуй, самым удивительным в сознании русской интеллектуальной элиты, отторгнутой революцией, было ее нежелание отказаться от умозрительных установок, сформировавшихся под влиянием буржуазной просвещенности. П. Б. Струве, П. М. Бицилли, П. Н. Савицкий, С. С. Ольденбург, В. В. Шульгин др. — почти все, чьи статьи мы сегодня перечитываем, — потерпев военное и политическое поражение, переживая идеологическое поражение, продолжали настаивать на своей исторической правоте. Отталкиваясь от верных теоретических посылок, они отказывались, не в состоянии были видеть и оценивать реальность в ее данности «здесь и сейчас». Кто бы стал спорить с тем, что «революционность есть всегда активное и творческое состояние искания и создания новых путей политической борьбы, сочетающее различные программы с различными приемами политической активности» [7, с. 215]? В самом деле, революционная Россия создала огромное число политических программ и форм политической активности. Но почему вся ответственность за ее бедственное положение по окончании Гражданской войны возлагалась на большевиков? Притом что всем была очевидна их «вторичность» в революции. Государственный переворот был совершен не в октябре, а в феврале 1917 г. Большевики в буквальном смысле подобрали нелегально захваченную буржуазией и не обретающую легитимности власть. Творческий потенциал «российской» буржуазии оказался даже не нулевым, а отрицательным.

Далее. Кто бы стал спорить с тем, что «носителем революционного действия всегда является организованное и верующее в свои идеи меньшинство»? Парадоксальная ситуация возникла в России в середине семнадцатого года прошлого столетия. Власть оказалась в руках небольшой партии, представляющей интересы не существующего де-факто класса. Но как показала история, именно наличие

такой партии свидетельствовало в пользу рождения нового класса, политически ничтожного вначале, но невероятно быстро набравшего силу. Налицо нарушение логики социально-политического процесса. Обычно все происходит в обратной последовательности. Сначала — класс, потом — партия. Однако, вероятно, такой порядок присущ классически буржуазному ходу истории, когда классы складываются столетиями, постепенно, развивая собственное самосознание, последовательно генерируя и собственную партийную элиту, оформляющую постепенно это самосознание в идеологию. В России же, как мы видели, длительность процесса была сокращена до нескольких десятилетий. Партийная идеология, опирающаяся скорее на эмоционально-волевую мотивацию, чем на теоретическую аргументацию, видимо, сыграла роль реактива, в критический момент сплотившего пролетарскую массу. Причем, в отличие от западноевропейской, российская модель формирования пролетариата предполагала ассоциацию не только фабрично-заводских рабочих, но и изрядной части крестьянства, находившегося в состоянии гражданско-правовой неопределенности, и даже значительной части интеллигенции.

Подобное событие не могло произойти исключительно благодаря «крепости», «личной годности» энтузиастов революции. Так или иначе всем было понятно, что именно «объективная правота», питавшая революционный энтузиазм, «определила продолжительность борьбы» и «решила ее исход» [7, с. 215]. Тем не менее умозрительная предубежденность критиков революционной власти в первую очередь фокусировала мысль преимущественно на негативных сторонах советской действительности: на хозяйственной разрухе, экономическом упадке, социальном хаосе, политической беспомощности. Струве, безусловно, выражал точку зрения почти всей русской эмиграции, обвиняя большевиков в пренебрежении национальными интересами России. Но в контексте данной статьи более важно подчеркнуть, что в действиях большевиков помимо «вредоносности» усматривалось фундаментальное противоречие: «Большевизм должен быть организацией хозяйства и промышленности — и он разрушает хозяйство и промышленность. Большевизм должен быть диктатурой пролетариата — и он уничтожает пролетариат... Большевизм как государственная система своим осуществлением и бытием как будто опровергает экономический материализм» [7, с. 218].

Сегодня, почти сто лет спустя, мы можем более объективно оценивать то, что делалось нашими соотечественниками внутри страны, и то, как это понималось нашими соотечественниками, оказавшимися за ее пределами. И мы не ставим перед собой задачу дезавуировать позицию непонимания русской эмиграцией сути происходящего в России после окончания Гражданской войны. Мы хотели бы показать, что такая позиция была обусловлена узостью мировоззренческого горизонта, заданного буржуазной образованностью, что влекло за собой и методологическую ограниченность первых критиков большевизма. В этом смысле показательны размышления К. Зайцева, который «видел», как «под разрушительными ударами большевистского молота куется творец новой русской культуры» [1, с. 128].

Окончание Гражданской войны, отказ от политики военного коммунизма, замена продразверстки продуктовым налогом, разрешение мелкой торговли, видимо, вызвали надежду на то, что ход истории вернется в обычное русло. Ведь так оканчивались все известные революции. Произшедшие потрясения завершались подлинным национальным единением. «Собственность, государство, самоуправ-

ление, право, нация, церковь — это все старые слова, и в них все тот же старый смысл. Новое в них только то, что вся Россия влагает в эти слова один и тот же смысл и что для всех русских это — не только слова и не только смысл — а неизгладимая составная часть их сознания, сливающая их в одно неразрывное, как монолит, духовное целое» [1, с. 129]. Наступивший мир в самом деле создавал видимость того, что русская история повторяет событийный ряд начала XVII столетия. И теперь проблемы, накопившиеся за триста лет, разрешатся, примилив всех антагонистов. «Мелкая собственность окончательно поглотит противоположение бывшего помещика и бывшего крепостного»; «земская волость объединит сословное сельское управление и барское земство»; общее «гражданское уложение устранил саму память о двойственности правопорядка»; появятся «единая государственная власть, причудливо сочетающая будущее с воспоминаниями прошлого»; «церковь, освобожденная и просветленная в гонениях и мученичестве» [1, с. 129], — такими видел элементы русского самосознания, связывающие новую и старую Россию, К. Зайцев. Однако высшим ценностным ориентиром ему представляется «время, когда сойдутся пути буржуазного мира и Советской России», когда «русский гражданин, гордо сознающий свою “буржуазную” сущность», «сохранит и сбережет пламя мировой культуры» [1, с. 130].

Как здесь не вспомнить слова самого же Кирилла Зайцева из той же самой статьи: «Мозг народа, руководящие, ведущие круги, интеллигенция его не знает своего народа. ... Народ для нее “теория”, загадка...» [1, с. 119]. И не только загадка. Самое страшное и объясняющее почти все случившееся — это то, что «народ не понимал своей интеллигенции, не признавал ее выразительницей своего духовного бытия и не верил ей». Незападная, антибуржуазная направленность развития русской цивилизации была совершенно очевидна. В общественном сознании неслучайно символика социалистических преобразований дополнялась пафосом большевизма, противопоставившего себя меньшевистской социал-демократии, приверженной идеалам европейского пути развития. Большевизм — это скорее революция, чем социализм, и если большевизм считать социализмом, то это скорее антикапитализм, чем социал-демократия, вписывающаяся в структуру капиталистического мироустройства. И в этом смысле большевизм по-настоящему революционен. Он возвращал Россию на ее подлинный путь цивилизационного развития, тем самым, по словам Н. Устрялова, «осуществлял свое национальное призвание» [7, с. 217].

П. Н. Савицкий — один из немногих авторов «Русской мысли», увидевший эту цивилизационную правду большевизма. Он писал: «... большевизм, в своем жизненном облике, в корне отрицает то умонастроение, которое заставляло русских оценивать свой народ и культуру... с точки зрения романо-германца». Уже в 1920 г. основоположник евразийства понимал большевизм как общенациональное дело: «Народный большевизм, большевизм как практика, существенно разошелся с тем, что для него надумали его первоначальные вожди, западники-марксисты» [8, с. 129]. Большевизм превзошел теоретический марксизм, проявив свою творческую, новаторскую сущность: «Большевистский социальный эксперимент по своим идеологическим и пространственным масштабам оказался без прототипов в истории Запада и в этом смысле явился своеобразно российским» [8, с. 129]. Поэтому и понять его в категориях западной мысли невозможно.

Замечательно, что несколько позже П. Н. Савицкий вместе с Н. С. Трубецким, Р. О. Якобсоном в рамках евразийского движения предпримут попытку разработки альтернативной научной методологии, утверждающей принципы, существенно отличные от тех, которые были приняты ученостью Просвещения. Данная проблема, к сожалению, до сих пор остается малоисследованной. Здесь не место подробно останавливаться на этом вопросе, но нельзя не отметить, что академический энтузиазм П. Н. Савицкого и его товарищей был во многом конгениален практическим решениям, которые приходилось принимать и выполнять в рамках социалистического строительства. В этот короткий исторический промежуток Советская Россия совершила невероятный прорыв из прошлого в будущее, почти сразу оставив далеко позади себя массу критических толкований революционного обновления огромного государства. Не удивительно, что пафос философских спекуляций оказался беспомощным перед торжеством реальных достижений. За два десятилетия мирного строительства произошла своеобразная позиционная инверсия между практическим большевизмом и умозрительной интеллигенцией. Так, в первые годы после революции многие решения, принятые руководителями «Совдепии», не могли не возмущать (и вполне оправданно) «просвещенное» сознание. Но к концу тридцатых годов этому сознанию, чтобы выразить свое отношение к происходящему в СССР, оставалось либо выразительно молчать о нем, либо его мифологизировать. Пожалуй, с высокой степенью достоверности можно утверждать, что философский стиль эмигрантской мысли оказался не в состоянии справиться с реальностью, которая принципиально превосходила его по форме, схватывающей в единое целое совершенно новое содержание жизни.

Именно в советской фазе истории Россия «своей судьбою определяет самым непосредственным образом судьбы мира» [8, с. 130]. Для новой России «не исторические центры Запада — Париж, Рим, Лондон», но Петроград — «пламень красный, зоревой» — «является маяком вселенной» [8, с. 129]. Станным, оттеняющим диссонансом кажутся размышления Савицкого в общем строе «Русской мысли». Но в этом диссонансе «мерцает сияние некоей еще не раскрывшейся, но уже близкой Исторической Истины». Поразительны слова Савицкого о первых опытах советской поэзии: «Никогда, быть может, за все существование российской поэзии, от “Слова о полку Игореве” и до наших дней, — идея Родины, идея России не вплеталась так тесно в кружева и узоры созвучий и образов религиозно-лирических и символических вдохновений, — как в этих стихах (Н. Клюева, А. Блока, С. Есенина. — *Авт.*) “советских поэтов”» [10, с. 220].

Большевизм возник в 1903 г. В 1917-м он получил историческую дееспособность, вступив в борьбу за власть в России. В 1920 г., победив в Гражданской войне, большевики возглавили власть Советов. Вместе с властью они получили: экономическую и хозяйственную разруху в масштабе всей страны, бесполезный, беспомощный административно-управленческий аппарат и продолжающееся люмпенизироваться население, деморализованное двумя войнами и двумя революциями. Сделанное большевиками в следующие пятьдесят лет прекрасно иллюстрируют события, ставшие символами XX века: победа во Второй мировой войне, выход человека в космос. Сущность этих событий определена колоссальными преобразованиями, которые были организованы и осуществлены большевиками. Первое — создание политической системы нового типа, в которой устранилось принципиальное

противопоставление между обществом и государством. Второе — создание самодостаточной экономической системы, подтвердившей целесообразность государственных и кооперативных форм собственности и эффективность планового управления производством. Наконец, третье — создание нового типа общности — советский народ, — утверждающей принципы классовой и национальной солидарности.

Казалось бы, в этом перечне мы имеем своего рода историко-феноменологический ряд, раскрывающий сущность большевизма. Тем не менее мы не можем пренебречь другими, не менее важными аспектами, требующими включения в смысловой горизонт большевизма. Первый — стремительность, с которой большевизму удалось добиться невероятных результатов. Второй — интенсивность перерождения и деградации большевизма после решения важнейших цивилизационных задач. Третий — широкое использование репрессивного механизма при строительстве общества народного самоуправления.

Эти три аспекта требуют прояснения. О них не могло идти речи сто лет назад, когда тема большевизма была только-только проблематизирована в философской журналистике русского зарубежья. Эта проблема актуальна сегодня. И, находясь на подступах к ее решению, мы можем предположить глобальную аналогию в истории России, обозначив ее как четыре начала русской истории: Крещение Руси — преодоление Ордынского господства — Петровские реформы — большевистская революция. Из этой четверицы мы, кажется, не разобрались вполне даже с первым началом — Крещением. Но это нас не избавляет от необходимости разобраться во всех остальных, так как все они — наши начала. Других начал у нас нет.

Литература

1. *Зайцев К.* Буржуазная Европа и Советская Россия // Русская мысль. Кн. V–VII. София, 1921. С. 115–131.
2. *Струве П. Б.* Размышления о русской революции // Русская мысль. Кн. I–II. София, 1921. С. 6–37.
3. *Бицилли П. М.* Гибель запада // Русская мысль. Кн. VIII–IX. София, 1921. С. 308–311.
4. *Струве П. Б.* Историко-политические заметки о современности VII–VIII // Русская мысль. Кн. X–XII. София, 1921. С. 317–324.
5. *Ельяшевич В. Б.* Социальные последствия русской революции // Русская мысль. Кн. VIII–IX. София, 1921. С. 195–210.
6. *Ленин В. И.* Империализм как высшая стадия капитализма // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1969. Т. 27. С. 299–426.
7. *Струве П. Б.* Историко-политические заметки о современности I–IV // Русская мысль. Кн. V–VII. София, 1921. С. 208–224.
8. *Савицкий П. Н.* Европа и Евразия (по поводу брошюры кн. Н. С. Трубецкого «Европа и Человечество») // Русская мысль. Кн. I–II. София, 1921. С. 119–138.
9. *Серю П.* Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920–1930 гг. М.: Языки славянской культуры, 2001. 360 с.
10. *Петроник (Савицкий П. Н.)* Идея Родины в советской поэзии // Русская мысль. Кн. I–II. София, 1921. С. 119–138.

Статья поступила в редакцию 28 июля 2017 г.;
рекомендована в печать 3 октября 2017 г.

Контактная информация:

Кулакова Татьяна Александровна — д-р полит. наук, проф.; koulakova812@mail.ru
Соколов Алексей Михайлович — д-р филос. наук, проф.; docentsokolov@yandex.ru
Кузнецов Никита Всеволодович — д-р филос. наук, доц.; nikita2554@mail.ru

The problem of Bolshevism in Russian emigré philosophical journalism of the Russian abroad

T. A. Koulakova, A. M. Sokolov, N. V. Kuznetsov

St. Petersburg State University,
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

For citation: Koulakova T. A., Sokolov A. M., Kuznetsov N. V. The problem of Bolshevism in Russian emigré philosophical journalism of the Russian abroad. *Vestnik SPbSU. Philosophy and Conflict Studies*, 2018, vol. 34, issue 1, pp. 24–36. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu17.2018.103>

The article continues the cycle of publications devoted to Russian philosophical journalism during the October revolution (1917–1922). The subject of research is the formation of the perspective of Bolshevism and its socio-philosophical analysis in the journal “Russkaya Mysl” of the first two years (1920–1921) after the resumption of its activities abroad. The author’s interest in this story arose from the fact that a century has passed from the heyday of Russian religious-philosophical thought, and also that the revival of this issue can serve as the starting point of a philosophical renewal in our country, reviving thus the pathos of Patriotic wisdom. On the basis of publications of P. M. Bitsilli, K. I. Zaitseva, P. N. Savitsky, P. B. Struve, and others, the authors demonstrate the ambiguity of the understanding of Bolshevism and the attitude of the Russian intellectual élite in exile. The most important part of the study is the one where we are talking about a fundamental inability of Russian intellectuals, educated in the spirit of bourgeois enlightenment and classical academism, to give an adequate assessment of the events that was meaningful and different from what characterized classical Western scholarship. So the description of the dynamics of Russian society three to four decades preceding the revolution did not give the true picture of the social processes taking place in the country. Because Bolshevism was a phenomenon generated by the paradox of socio-political processes, it can be understood only in the context of the exciting non-triviality of its event horizon.

Keywords: philosophy, revolution, socialism, Bolshevism, the dynamics of civilization, event horizon, the Soviet government, historiosophy, class, the bourgeoisie, the proletariat, the peasantry.

References

1. Zaitsev K. Burzhuaznaia Evropa i Sovetskaia Rossiia [Bourgeois Europe and Soviet Russia]. *Russkaia mysl'*, 1921, vol. V–VII, pp. 115–131. (In Russian)
2. Struve P. B. Razmyshleniia o russkoi revoliutsii [Reflections on the Russian revolution]. *Russkaia mysl'*, 1921, vol. I–II, pp. 6–37. (In Russian)
3. Bitsilli P. M. Gibel' zapada [Death of the West]. *Russkaia mysl'*, 1921, vol. VIII–IX, pp. 308–311. (In Russian)
4. Struve P. B. Istoriko-politicheskie zametki o sovremennosti VII–VIII [Historical-political notes on the present VII–VIII]. *Russkaia mysl'*, 1921, vol. VIII–IX, pp. 317–324. (In Russian)
5. El'iashevich V. B. Sotsial'nye posledstviia russkoi revoliutsii [The social consequences of the Russian revolution]. *Russkaia mysl'*, 1921, vol. VIII–IX, pp. 195–210. (In Russian)
6. Lenin V. I. Imperializm kak vysshiaia stadiia kapitalizma [Imperialism, the highest stage of capitalism]. Lenin V. I. *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete works]. 5th ed. Moscow, Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1969, vol. 27, pp. 299–426. (In Russian)
7. Struve P. B. Istoriko-politicheskie zametki o sovremennosti [Historical-political notes on the present] I–IV. *Russkaia mysl'*, 1921, vol. V–VII, pp. 208–224. (In Russian)
8. Savitskii P. N. Evropa i Evraziia (po povodu broshyury kn. N. S. Trubetskogo «Evropa i Chelovechestvo») [Europe and Eurasia (about brochure N. “Europe and Humanity”)]. *Russkaia mysl'*, 1921, vol. I–II, pp. 119–138. (In Russian)

9. Sériot P. *Struktura i tselostnost'. Ob intellektual'nykh istokakh strukturalizma v Tsentral'noi i Vostochnoi Evrope. 1920–1930 gg.* [*Structure Et Totalité: Les Origines Intellectuelles Du Structuralisme En Europe Centrale Et Orientale*]. Moscow, Iazyki slavianskoi kul'tury Publ., 2001. 360 p. (In Russian)

10. Petronik (Savitskii P.N.) *Ideia Rodiny v Sovetskoj poezii* [The idea of the homeland in Soviet poetry]. *Ruskaia mysl'*, 1921, vol. I–II, pp. 214–225. (In Russian)

Author's information:

Koulakova Tatyana A. — Doctor of Political Sciences, Professor; koulakova812@mail.ru

Sokolov Aleksei M. — Doctor of Philosophy, Professor; docentsokolov@yandex.ru

Kuznetsov Nikita V. — Doctor of Philosophy, Associate Professor; nikita2554@mail.ru